

УБРЯ
НОБА

УЛЬЯ
ПОВА

ЛАЗАЛКИ



Москва
2016

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос-Рус)1-44
Н72

Художественное оформление серии *Е. Анисиной*

В оформлении обложки и титула
использованы иллюстрации *В. Тимофеевой*

Улья Нова.

Н72 Лазалки: [роман] / Улья Нова. — Москва :
Издательство «Э», 2016. — 320 с. — (Улья
Нова: городская проза).

ISBN 978-5-699-92182-9

Страшно, когда безвозвратно уходят близкие; грустно, когда они ещё с нами, но их покинули память и радость жизни; обидно, когда любимое и кажущееся незыблемым безвозвратно уходит в прошлое...

Она очень-очень хотела, чтобы её дед был всегда рядом, здоров и весел. Но старость коварна, неодолима, и как помочь деду, внучка не знала. Надежда оставалась на одно верное, магическое и очень трудно добываемое средство — волшебный шарик из рюкзака таинственного человека, который иногда появляется в городе. Ведь если посадить этот шарик в землю, из него вырастет лещенка в небо. Забравшись по ней, можно загадать всё самое заветное: о себе, о своих родных и любимых — чтобы они всегда были с нами, а мы с ними!

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос-Рус)1-44

© Улья Нова, 2016
© Тимофеева В., иллюстрации, 2016
© Оформление.

ISBN 978-5-699-92182-9

ООО «Издательство «Э», 2016

1

Куда бы этот старик ни шел, повсюду его преследовала невидимая птица, выжидавшая удобный момент, чтобы наброситься и клюнуть. Но каждый раз, когда она подлетала совсем близко, старик отмахивался и угрожающе вскидывал подбородок. Бабушка сказала, что это называется тик. Птица-тик. Оказывается, такие птицы начинают преследовать неожиданно. Того, кто узнал огромную горькую тайну. После какого-нибудь печального известия. Или беды.

Поговаривали, будто даже ночью старик скитается по пустынным дворам, по безлюдным переулкам, убегая от назойливой птицы. Иногда он тихо разговаривает сам с собой. Сначала бормочет, будто объясняя кудрявой женщине в шерстяном сарафане, скрывающейся за оконцем сберкассы: «Пойми. Помолчи и выслушай!» Потом старик громко скандалит и грубит. Его выкрики раскатываются по дворам, отдаются в глубине подъездов, отскакивают от темных стволов, звенят между перекладинами лазалок и пожарных лестниц. Еще он размахивает рукой. Вскидывает подбородок. Нервно сплевывает. И эхо разносит его вопли по переулкам.

Обычно старик появляется из низкого черного подъезда в дальнем дворе. На мгновение, осветив темень искрящим, рвущимся всполохом спички, отгоняет птицу, сутуло прикуривает, выставляет вперед ладонь на предмет дождя. И направляется в сторону железной дороги. По пути продолжая себя убеждать.

— Брось, — настойчиво шепчет он. — Прямо сейчас. Никого нет. Сними рюкзак и брось. Вон, оставь на скамейке или под липой. А сам ступай. Думаешь, он завалится? Кто-нибудь его подберет. С ним за грибами можно ходить. Бутылки в пункт приема таскать. Хватит!

— Отстань, — глухо и недовольно бормочет старик себе в ответ.

— Вот, скажи, сколько ты скитаешься? Лет пять? Забыл! Хоть одну железную кровать ты нашел? Им там, в милиции, видней. Раз говорят, что дело закрыто, значит, так и есть. Ну нет железных кроватей во всем Черном городе! Чего зря ходить.

Голубоватый дым, вырываясь изо рта, заволакивал морщинистое, заросшее щетиной лицо старика. Он останавливался в темноте возле карусели или у рядка гаражей. Жадно курил, раздуывал. Потом вскидывал подбородок, отпугивая невидимую птицу, щелчком отправлял окурки в полет и уходил по сумраку к железнодорожной станции. Если бы кто-нибудь задумал это нарисовать, пришлось бы потратить много гуаши из мягкого тюбика с надписью «ультра», капельку воды и пару слабых бело-желтых мазков, изображающих редкие фонари. Темный силуэт старика

спешил по парку, его синяя тень плыла по кочкам и травинкам. При взмахах руки что-то звякало и тренькало в рюкзаке. Небольшое и увесистое. Дзыньк! Иногда раздавался глухой звук. Что-то выпадало оттуда и тяжело плюхалось в мягкую после дождя глинистую землю. Пык! Потом слышался только шепот, раскиданные как попало шаги, тяжело шлепающие по земле. Вокруг чернели тишина дворов и визгливые песни ветра в приоткрытых дверях подъездов. А на окраине, за детским парком с остановившимися ржавыми каруселями, удаляясь, чухал-пыхал-дыдыхал нескончаемый товарный поезд.

Вывавшись из подъезда, глотнув сизый ветер подворотен, спугнув голубей с ржавых ворот заброшенного детсада, засмотревшись вдаль, на того, кто в одиночестве пытается раскачаться в тяжёлой железной люльке, мы забывали комнаты, тепло батарей, шерсть ковров и неожиданно превращались в беспризорных дворовых детей. Гольфы сразу съезжали на щиколотки. Ремешки сандалий расстегивались. На носу возникали царапины. На щеках — черные полосы. А рукава кофты или рубашки вытягивались и болтались, спрятав ладони.

Каждый раз, выпущенная дедом погулять перед обедом, «чтобы к двум была как штык», я отправлялась в одинокие скитания вокруг дома, в надежде встретить остальных. Леня оказывался на углу, он сидел на корточках, задумчиво щекотал прутиком лужу, отчего на сером небе, мутно звенящем в ней, возникала легкая рябь и

круги. Славка крутился за кустами, возле пустыря: наблюдал из засады за нашим подъездом и сообщал о происходящем в «рацию» — серый бульжник или в найденную под окнами телефонную трубку с зеленой кудряшкой шнура. Артем сосредоточенно выстраивал из осколков кирпичей крепость возле песочницы. Его синтетические синие шорты были в песке, гольфы — тоже. Иногда он, возмущенно брыкаясь, вытряхивал песок из сандалий. Лена появлялась неожиданно, из дальнего подъезда, в длинном шелковом платье ниже колен, купленном на вырост, но нетерпеливо надетом уже сегодня. И почему-то вспоминались слова бабушки, что она — девочка с ветерком. «Вот увидишь, она еще покажет себя. Ой, зря родители так рано прокололи ей сережки». Это звучало как мрачное предсказание, которому хотелось дерзить. Потому что прозвище «девочка с ветерком» казалось легким. И Лена всегда возникала рядом неслышно и неожиданно, как листик березы или вишни, принесенный ветром. Иногда, ни на кого не обращая внимания, она самозабвенно кружилась под окнами. Ее клетчатая юбка расправлялась колокольчиком, платье — лиловым цветком-граммофоном, как те, что растут на площади, возле кинотеатра и памятника. Лена внимательно рассматривала клеточки юбки. Потом резко останавливалась, начинала кружиться в другую сторону, шлепая лаковыми босоножками по асфальту, сверкая голубыми носочками, любуясь, как бесформенная ткань наполняется ветром и обретает объем.

Марину надо было вызывать, встав на цыпочки, вытянув шею, прицелившись, чтобы крик влетел в форточку первого этажа, с розовой тюлевой занавеской и геранью на подоконнике. Нужно было постараться, чтобы крик назойливо метался в узкой длинной комнатке и привлек ее внимание. Марина живет под нами. Чаще всего она дома с отцом, прозрачным человеком, который курит, не бреется и всегда молчит. Прошептал ему «здрасьте», через два шага уже невозможно вспомнить, седой он, усатый или носит очки. Однажды, прищурившись и понизив голос, бабушка объяснила, что раньше он был летчиком, потом попал в аварию, долго лежал в больнице и смотрел в потолок. «У него тоже есть невидимая птица-тик?» — «Никакой птицы у него нет». В палате больницы Маринин отец превратился в себя окончательно и бесповоротно. Стал молчаливым человеком из целлофана. Теперь в конце лета и осенью он водит школьников в походы, потом весь год сидит дома, никуда не ходит и не приносит денег. Что за авария, бабушка умолчала, она выдавала сведения о соседях, городке и о маме маленькими разумными порциями, как таблетки, которые в небольших дозах являются лекарством, несмотря на горечь и на то, что от них ком в горле и немеет язык. Бабушка чувствовала, что слишком много рассказывать не стоит, ведь в больших дозах узнавание тайн может отравить. Она всегда точно отмеряла дозу того, что следует рассказать. Раскрывая истинное положение дел, срывая с людей и зданий покрывало неизвестности, она никогда не подмешивала сахар, а гово-

рила все как есть. И привкус горечи, от которой трудно сглотнуть, потихоньку расползлся по городку. Это была димедроловая, убаюкивающая горечь узнавания. Она растекалась над домами, смешивалась с дымом котельной и запахом подгоревшей манки. С криками дворовых кошек. С бормотанием дворничихи, что шлепала куда-то в тапках на босу ногу, сжимая в руках визгливое ведро. Это была едва уловимая горечь полыни, лишаящая страха, позволяющая перейти на «ты» с дворничихой, Марининым отцом и дядей Леной, курящим на балконе в растянутой майке. Но горечь быстро забывалась, стоило только, разбежавшись, нечаянно глотнуть холодного и сырого ветра подворотен. Или серебряного ветра, рожденного пропеллерами.

В такие дни небо было низкое, мутное, со сбившимися темными клочками облаков. Во дворах пахло фиалками и гвоздями, из форточек тянуло щами и кипящим в ведре бельем. Потом несколько невесомых капель касались щеки, норовя разогнать всех по домам и опустошить дворы. Как будто кто-то отряхивал кисточку от лишней воды, раздумывал, в какую бы краску ее обмакнуть. И целый день низкое серое одеяло нависало над двором, а в гуще свалывшейся мутной ваты изредка гудел самолет.

Мы с Артемом маялись возле дома, потом к нам выбежала из подъезда Лена с ветерком. Вдалеке с палкой в руке возник рыжий Ленья, разруганный, продолжающий на бегу бормотать про штаб. Возможно, пока мы нерешительно переговарива-

лись, ведьма и пьяница Галя Песня, очнувшись после трехдневного забытья, добрела до окна, приоткрыла форточку. Ее расплывшееся, утратившее очертания лицо источало яд безделья и полусна. Ей казалось, что она проснулась в Черном городе, откуда нельзя вырваться, где можно только забыться. Она окинула мутным, пустым взглядом двор, заметила нас, сощурила забродившие вишни глаз. И все мы одновременно превратились в большие гири из овощного магазина, как будто пыльная, лысоватая земля до боли притянула нас, лишив всяких сил. Мы забылись, сдались и стали теми бесталанными и пустыми детьми, которых так осуждала бабушка. Часто по праздникам в телевизоре старательно и стройно тараторил песню детский хор: аккуратно стриженные мальчики в белых рубашках, клетчатых жилетках и девочки в клетчатых сарафанах, белых колготах. Расслушав их тоненькие голоски, бабушка возникала в комнате, вытирала перепачканные в муке руки о фартук и растроганно замирала перед телевизором. Немного погодя, она мечтательно и завистливо изрекала: «Есть все-таки дети с талантом!» А потом прибавляла что-нибудь про бестолковых дворовых детей, к которым она с горестным вздохом причисляла меня. И теперь, подтверждая ее слова, как молчаливый и разрозненный хор со спущенными гольфами и вытянутыми рукавами кофт, мы бездумно брели по дворам.

На ходу мы спорили, разжевывая слова в мелкую кашу, ставя неправильно ударения, заглатывая буквы. Мы жевали листики липы и зеле-

ные ягоды боярышника, подбирали пустые пачки из-под папирос, брали в рот окурки, царапали куском обугленной палки по стене дома, вытирали сопли рукавом. Каждый постепенно терял себя, сливался со всеми, повторял общие словечки, брел по луже, втыкал мыс ботинка в землю под кустом шиповника, цокал языком, сплевывал сквозь щелку между передними зубами.

Утомившись, чувствуя во рту привкус пыли и мелкие ворсинки ягод, мы уселись на спинку голубой облупившейся лавочки, возле дальнего подъезда.

— Я могу смотреть, как самолеты взлетают, сто раз. И еще сто раз, если захочу! — крикнул Славка-шпана. — Самое интересное — отрыв от земли. Это происходит так: только что самолет был на взлетной полосе, тыц, и он уже в воздухе. Сначала вот на столько. — Он показал крошечную щелку большим и указательным пальцами. — Потом все выше. Вот так! — Он изобразил это, сжимая в руке маленькую пластмассовую машинку с одним потерянным колесом. — Вы не видели и молчите! А я много раз видел, — с гордостью добавил он, — потому что мой отец — летчик. Весной он брал меня в аэропорт и показывал самолеты! Они там стояли на площадке. Огромные такие! Серебряные и белые. Пассажирские. И два военных, защитного цвета. Ты не знаешь защитный цвет, потому что ты — девчонка. И никакой ты не художник, — выпалил он мне. — Папа сказал, что наш город построили для аэропорта. Чтобы здесь жили летчики, стюардессы, радисты и пилоты. У меня папа летчик.

И я, когда вырасту, тоже стану летчиком. Или самым главным командиром аэропорта. А ты — художник. Будешь разукрашивать остановки.

И мы начали спорить, перекрикивая друг друга. О том, что ночью самолеты летают реже. Славка-шпана ревел, что ночью самолеты летают так же, как и днем. Как и всегда. Лена с ветерком молчала, смотрела туда, где за пустырем и шоссе начинается поле. Она ждала, когда все стихнут и можно будет спокойно сказать. А мы пихались, вопили до хрипоты, каждый норовил доказать свою правоту рыком. Кто-то, разбуженный, хрипло крикнул нам с балкона третьего этажа. Потом вредная старуха с клюкой, которая обычно сидит на скамейке, круглый год в войлочных сапогах и в шифоновой косынке, приколотой к волосам черным рядком невидимок, повелительно прогудела, чтобы мы немедленно слезли и не пачкали лавочку ногами. И пригрозила, что вызовет милицию.

Милиция — слово с лезвием, резво отрезвляющее и охлаждающее. Милиция — слово-лекарство от рассеянности и накотившей тупости всех, кто превратился в бездомную шайку. Я тут же представила, как бабушка откроет дверь. В фартуке и ситцевом халатике в цветочек, которые она строчила однажды ночью на швейной машинке, грохоча на всю квартиру, старательно вжимая ногой электрическую педаль. Я представила, как начнет опадать и таять ее бесстрашное лицо, когда она обнаружит на пороге меня в бриджах и высокого худющего участкового. По-

том, еще живее, я увидела, как, выслушав историю моих походов, бабушка начнет медленно превращаться в птицу гнева, в страшную птицу с черными крыльями и сдвинутыми бровями, сосредоточенно что-то вспоминая. Сердце мое бултыхнулось, задыхаясь от смеха, от страха, от смутного предчувствия птицы гнева. И я панически металась по комнате вместе с ней, вспоминая, что старый коричневый ремень из толстой затертой кожи проживает в дедовых брюках от костюма, они висят в платяном шкафу, пропитанном запахами нафталина и полыни. Другой ремень свит в кольцо, черной змеей отдыхает на полке, под накрахмаленными скатертями и самодельными кружевными салфетками, ожидая праздника или особого случая, когда дед наденет свой выходной черный костюм. Эти два ремня совершенно не вызывали опасений. Но был еще тоненький и гибкий бежевый ремень, какими после войны препоясывали легкие платья, чтобы подчеркнуть талию. Этот ремень скитался по дому, обнаруживаясь то в тумбочке, то в гардеробе и стенном шкафу. Именно он, кочующий, хлесткий, внушал смутную тревогу. И мы, все как один, сорвались с лавочки, вереницей понеслись в заросли вишни и вишневой ягоды, стараясь не показывать друг другу испуга, тихонько грубя для смелости и сдерживая сдавленные смешки.

Мы неслись под зарешеченными окнами первых этажей, под балконами, мимо вишен и берез, на бегу дергая за ветки, стряхивая мелкие холодные капли. Все как один, на всякий случай

заговорщически понизили голоса, пригнулись, старались не шлепать сандалиями. Потом, по молчаливому соглашению, мы дружно и медленно двинулись по тропинке мимо бокового кирпичного дома, втягивая ноздрями теплые, жареные и шерстяные, такие снотворные выдохи квартир. На ходу наблюдая, как из грузовика выгружают обмотанные в целлофан серо-белые кухонные шкафы. В точности такие же, как и те, что висят на наших кухнях, только новые, с запахом стружек, которыми обкладывают все стеклянное и бьющееся в мебельном магазине, возле каменной остановки. И мы брели, краем глаз выхватывая, как перескакивают одно в другое окна комнат, сонно моргающие от яркого света, жадно хватаящие валидол неба форточками.

Потом мы сорвались и снова побежали, не касаясь асфальта, не чувствуя рук и ног. Ветер выхватывал прядки волос и трепал их над нашими головами. Нас подгоняла жажда ледяного, рвущегося в разные стороны, обдуваемого ветрами неба. Оно превратит что-то внутри в лоскутки ткани, трепещущие и ликующие от ужаса и восторга. Сгорая от нетерпения, мы неслись к спортивной площадке, что располагалась вон там, возле двухэтажной школы с шершавыми стенами под серый известняк. Вот показалось заросшее одуванчиками футбольное поле. За ним — зеленый лабиринт, синяя семейка турников, низенькие разноцветные барьеры для бега с препятствиями. Вдоль стены школы — клумба с сочными, впитавшими дождь бархатцами. Она окутывала все вокруг горьковатым пряным аро-